

ПУШКИНИСТИКА СЕГОДНЯ

DOI 10.37386/2305-4077-2023-2-18-30

Н. П. Крохина¹

Ивановский государственный университет (Шуйский филиал, г. Шуя)

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»: РУССКАЯ КАРТИНА МИРА

Актуальность работы связывается с современными спорами о русской идентичности, а целью анализа хрестоматийного произведения является актуализация тех работ, которые акцентируют синтетичность «Онегина» на уровне жанра, ритма, стиля. Предметом исследования является непредсказуемый поток жизни в этом необычном романе-дневнике и образ Автора как центрального героя, его мысли и переживания. Острому ощущению ничтожности жизни и её быстротечности противостоят в романе сакральные основы бытия; через мятежную юность, через «святую поэзию», через «преданья милой старины» человек приобщается к бессмертному таинству жизни. Онегин в романе – двойник Автора, его суд над собой; с Онегина начинается типология современного беспочвенного героя-иммoralиста литературы XIX в. Ленский и Онегин – два возраста души человека; Онегин и Татьяна – содержание души, полярность пустоты и полноты. В основе пушкинской картины мира – библейский масштаб постижения жизни.

Ключевые слова: целостное видение мира; творимая жизнь; дневник авторской души; библейский масштаб постижения жизни

N.P. Krokhina

Ivanovo State University, Shuya branch (Shuya)

“EUGENE ONEGIN”: THE RUSSIAN PICTURE OF THE WORLD

The relevance of the work is associated with modern disputes about Russian identity, and the purpose of the analysis of the textbook work is to update those works that emphasize the synthetic nature of Onegin at the level of genre, rhythm, and style. The subject of the study is the unpredictable flow of life in this unusual diary novel and the image of the Author as its central character, his thoughts and feelings. The acid feeling of the insignificance of life and its transience are opposed in the novel by the sacred foundations of being, through rebellious youth, through “holy poetry”, through the legends of dear old times, a person joins the immortal mystery of life. The contrasting ages of the human soul are given in the novel in the images of Lensky and Onegin. Onegin in the novel is the double of the Author, the trial of himself. With the image of Onegin, Pushkin begins the typology of the modern groundless hero-immoralist of the literature of the 19th century. Onegin and Tatyana are polar, like emptiness is polar to fullness. The unpredictability of life is fully manifested in the fate of the main character. It is concluded that the basis of Pushkin’s picture of the world is the biblical scale of comprehension of life.

Key words: holistic vision of the world; created life; diary of the author’s soul; biblical scale of comprehension of life

¹ Надежда Павловна Крохина – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры культурологии Шуйского филиала ИвГУ (г. Шуя), nadin.kro@mail.ru.

События последних лет вновь обостряют проблему русской идентичности, споры вокруг русского культурного кода, актуализируя наследие А. С. Пушкина – творца «русской картины мира» (В. Непомнящий). Центральное место в творчестве поэта занимает второе («онегинское») семилетие (1823–1830). Именно «Онегин» воплотил «процесс формирования пушкинской картины мира» [Непомнящий, 1999 с. 79]. Потому произведение синтетично по жанру – «роман в стихах», лиро-эпическая поэма (в её сложном диалоге с создателем жанра Байроном). Но главное в произведении – образ автора, его мысли и чувства, превращающее роман в дневник и записки (о чём одно из новейших исследований «романа» – работа А. Минкина «Немой Онегин»).

Эпоха романтизма, тяготеющая к универсальности, актуализирует миф (который всегда о целом) для современной литературы. Неслучайно глубина понимания Пушкина связана с эпохой символизма. Для символистов Пушкин – «абсолютный поэт», открывающий за индивидуальным и конкретным – бесконечное, будущее символистское «всеединство»: «Он на новом уровне возвращается к целостному видению мира», связывая единичное и конкретное с «единым» [Бройтман, 2008, с. 81, 31, 86]. «Перед Пушкиным открыта вся душа» [Блок, 1965, с. 198]. Потому «необычайная простота его стихов таит столь же необычайную сложность мыслей и чувств» [Ходасевич, 1923, с. 143].

Проблематика целостного восприятия Пушкина – в центре внимания современных исследователей. Как писал С. С. Аверинцев, «форма» романа в стихах «контрапунктически спорит» с содержанием, ибо содержание конкретно, а форма – «напоминание обо всём, об универсуме, о Божьем мире. Содержание той или иной строфы романа говорит о бессмысленности жизни героя и – автора – говорит о частном, но «архитектоника онегинской строфы говорит о целом», задаёт контекст всеобщего [Аверинцев, 2001, с. 204]. И Целое присутствует не только на уровне ритма, но и на уровне образной системы произведения, порождая уникальность этого текста: «такого свободного и вдохновенного пера, как в «Евгении Онегине», не было ни у кого в русской литературе до того и ни у кого после» [Клех, 2007, с. 140].

Как отмечал Ю. М. Лотман, текст строится на постоянной смене точек зрения, на переходах авторской интонации от лирики к иронии, от патетики к пародии [Лотман, 1980, с. 166]. Пушкин не только творец классической лирики, но и первый русский «постмодернист» с его игровой организацией текста, с его сложными интертекстуальными связями, играющий постоянными переходами от жизни к литературе. Литературная традиция в романе – столь же актуальна для автора, как и духовная традиция.

Предметом романа Пушкина как итог эпохи романтизма является непредсказуемый поток жизни, потому так важна категория возможности в романе, «атмосфера предчувствий, предвещаний, предсказаний», о чём, в частности, писал С. Г. Бочаров: «Одни возможности... не сбываются, другие сбываются неожиданно» [Бочаров, 1999, с. 34–35], потому что романтики открыли «тво-

риму ю жизнь», и речь должна передавать это «непрестанное струение жизни», игру жизни. Потому так важна романтическая ирония, для которой относительна всякая действительность и важна возможность [Берковский, 1973, с. 24, 31, 58]. Творимый поток жизни неотделим от той невиданной авторской свободы, которую Пушкин вносит в нашу литературу: «Пушкин изобразил жизнь как черновик, где можно зачеркнуть один текст и написать другой» [Чумаков, 2008, с. 36].

Таким образом, главным героем становится Автор – поэт, его представления о человеческой жизни, соотносённой с жизнью природы, размышления о поэтическом даре. Как замечал Б. А. Геллер, привычную форму романа-путешествия Пушкин «превратил в форму путешествия по жизни». У автора «невероятное чувство жизни», но на долгие годы «новация романа... ушла в тень», а роман попал «в круг обыденных представлений о типе разочарованного молодого человека» [Геллер, 2012, с. 339, 342, 349]. В. Непомнящий также отмечал, что «Евгений Онегин», «может быть, самый необычный роман в мировой литературе». Его герои «почти неотделимы от автора, и их жизнь, создаваемая автором на наших глазах, есть дневник авторской души» [Непомнящий, 1999, с. 154].

Автор «устраивает прощальный пир и бал всему, что любит и ценит», что «способно противостоять распаду, «реке времён», а именно: молодости, любви и вдохновению», которые отразившись в «онегинских строфах, «отменяют необратимость времени» [Клех, 2007, с. 141]. С образом Автора изначально входит тема ухода молодости – увядания (плод «незрелых и увядших лет» [Посвящение]), охлаждения («Ума холодных наблюдений» [Посвящение]), о себе в 1 гл. – «Грустный, охладель» [Пушкин, 1960, т. I, XXX]². Роман – гимн юности, молодости – она «мятежная» (I, IV), «пламенная» (II, XIX): «Люблю я бешеную младость» (I, XXX). С ней связано состояние пылания и кипения («среди пылких дней / Кипящей младости моей», I, XXXIII). Пылает страстью и кипит в своих чувствах юная Татьяна. «Дух пылкий» и «восторженная речь» – саму стихию молодости с её влюблённостью воплощает Ленский. Это «праздник жизни», главная пора в жизни человека. Образы цветения («в цвете лучших лет», I, XXXVI) и увядания связывают человека с природой, но и противопоставляют человека природе: для человека они однократны. Вот почему «Как грустно мне твоё явленье. / Весна, весна, пора любви!». «С природой оживлённой / Сближаем думою смущённой / Мы увяданье наших лет, / Которым возрожденья нет» (VII, II-III). Потому особую роль в жизни обретает поэтический дар с его воображением, способностью воскрешать прошлое: «Мне памятно другое время... Опять кипит воображенье», воскрешая прекрасные ножки и зажигая «в увядшем сердце кровь» (I, XXXIV). О прощании со своей молодостью автор размышляет в конце 6 гл.: «Лета к суровой прозе клонят /... Другие, хладные мечты... / Тревожат сон моей души»; «Ужель и впрям и в самом деле / Без элегических затей / Весна моих промчалась дней (Что я шутя твердил доселе?)» (VI, XLIII-XLIV). Потому поэт

² Все цитаты приводятся по: Пушкин А. С. Евгений Онегин. Собр. соч.: в 10 т. 4. М., 1960. Далее в круглых скобках после цитаты указаны номер главы и строфы.

прощается со своей юностью, благодарит её за все дары и с мольбой обращается к своему вдохновению: «Дремоту сердца оживляй... / Не дай остыть душе поэта, / Ожесточиться, очерстветь / И наконец окаменеть / В мертвящем упоенье света» (VI, XLVI).

Таким образом, обобщённый образ человеческой жизни в романе – от кипения к охлаждению, от жизни – к смерти (часто при жизни – и душа может быть мёртвой, и страсть, VII, II; VIII, XXIX) и холодному забвению после смерти («равнодушное забвенье / За гробом ожидает нас», VII, XI), о чём размышлял М. Гершензон в книге «Мудрость Пушкина»: совершенство, по Пушкину, «раскалённость духа». «В его обожании огня и отвращении к холоду сказывается то древнее знание человека, которое некогда привело народы к солнцу и огнепоклонству» [Гершензон, 1990, с. 230–231]. Пушкин знал два вида полноты – ущербная, хаотическая – «упоение страстей» и полнота невозмутимого покоя, какой изобразил поэт Татьяну как свой идеал и свою музу в 8 гл. Полнота дионисийская, гибельная, и полнота смирения, исполнения «тайной воли провиденья» (II, XXXVIII). Гершензона дополняет С. Франк, размышляющий о «безграничной широте» пушкинского духа – «душа его раскрыта для всего»: радости и уныния, одиночества и общения, гармонии и дисгармонии: «Пушкин был истинно русской «широкой натурой» в том смысле, что в нём уживались крайности; едка ли не до самого конца жизни он сочетал в себе буйность, разгул, неистовство с умудрённостью и просветлённостью»; «Первый и основной мотив религиозности поэта» – это «религиозное восприятие самой поэзии» [Франк, 1990, с. 445, 382, 390]. В этом сближении поэтического вдохновения с религиозным откровением Пушкин также наследник романтизма.

В христианский топос романа вписываются авторские размышления о ничтожности жизни – её быстротечности (Ларина – мать двух юных героинь не однажды на страницах романа – «милая старушка», III, IV; VII, XII), в ней одно поколение теснит другое: «Увы! На жизненных браздах / Мгновенной жатвой поколенья, / По тайной воле провиденья, / Восходят, зреют и падут... Придёт, придёт и наше время, / И наши внуки в добрый час / Из мира вытеснят и нас!» (II, XXXVIII). Непредсказуемый поток жизни сопрягает полярности. Потому Пушкин так любил оксюморон, и роман строится не по линейной логике да-нет, а по романтической логике всеединого и-и: «Всё благо: бдения и сна / Приходит час определённый; / Благословен и день забот, / Благословен и тьмы приход» (VI, XXI). Изначально это библейский масштаб постижения жизни: «Мотив жизни и смерти может быть сближен с тональностью Екклесиаста: «Всё благо...» [Чумаков, 2008, с. 129]. В атмосферу таинственного погружены и природа, и человеческая жизнь: «Лесов таинственная сень» (IV, XL); «сойду в таинственную сень» (VI, XXII). И важнейшим проявлением этого таинства жизни является Поэзия, которой так чужд Онегин и которая сближает Автора с Ленским: «Вы, призрак жизни неземной, / Вы, сны поэзии святой!» (VI, XXXVI). И потому через мятежную юность, через святую поэзию, через преданья милой старины человек приоб-

щается к бессмертному таинству жизни. Поэта страшит забвение: «Без неприметного следа / Мне было б грустно мир оставить» (II, XXXIX). Творчество дарует бессмертие: «Быть может, в Лете не потонет / Строфа, слагаемая мной» (II, XL). Поэт, уходя, уносит «святую тайну» (VI, XXXVII). Поэт обращён и в прошлое (к преданьям и привычкам «милой старины»), и в будущее – к своему потомку: «О ты, чья память сохранит / Мои летучие творенья», II, XL. А рядом – обыкновенный человеческий удел охлаждения души или просто её непробуждения в пошлости провинциальной жизни («где деревенский старожил / Лет сорок с ключницей бранился, / В окно смотрел и мух давил», II, III). Гротескные образы гостей Лариных: «И отставной советник Флянов, / Тяжёлый сплетник, старый плут, / Обжора, взяточник и шут» (V, XXVI). Или провинциальный «вечный разговор / Про дождь, про лён, про скотный двор» (III, I) повторяются в пошлости и пустоте светской жизни и патриархальной Москвы: «Всё белится Лукерья Львовна, / Всё то же лжёт Любовь Петровна, / Иван Петрович так же глуп, / Семён Петрович так же скуп» (VII, XLV); «Но всех в гостиной занимает / Такой бессвязный, пошлый вздор... И даже глупости смешной / В тебе не встретишь, свет пустой» (VII, XLVIII). И в столице «Необходимые глупцы», «На всё сердитый господин», «Проласов, за служивший / Известность низостью души» (VIII, XXIV-XXVI). Горькая ирония звучит в словах Автора о блаженствах «мертвящего» (VI, XLVI) света: «Блажен... Кто в двадцать лет был франт иль хват, / А в тридцать выгодно женат... / Кто славы, денег и чинов / Спокойно в очередь добился» (VIII, X). А далее забвение: О Ленском: «И память юного поэта / Поглотит медленная Лета, / Забудет мир меня» (VI, XXII), его «памятник унылый / Забыт» (VII, VII).

Герои романа воплощают дневник авторской души, её разные грани. Контрастные возрасты души человека даны в романе в образах Ленского и Онегина. Образ Ленского в романе подчёркнуто ироничен и весь построен на несовпадении видимости и сущности. «Он верил, что душа родная / Соединиться с ним должна» (II, VIII). Но влюблён не в поэтическую Тагьяну, а в ветреную Ольгу, живущую на поверхности жизни («резва, беспечна, весела», VI, XIII). Его романтизм – подражательный («Так он писал темно и вяло», VI, XXIII), но он воплощает энтузиазм юности и любит самозабвенно как поэт: «как одна / Безумная душа поэта / Ещё любить осуждена» (II, XX). И влюблённость, и поэтический дар его возвышают и оставляют вечным юношей, несмотря на всю иронию Автора. И, наконец, преображает Ленского, возвышает его ранняя гибель, побуждающая Автора к размышлениям о таинстве перехода от жизни к смерти: «Так медленно по скату гор, / На солнце искрами блистая, / Спадает глыба снеговая... / Тому назад одно мгновенье / В сем сердце билось вдохновенье, / Вражда, надежда и любовь, / Играла жизнь, кипела кровь, – / Теперь, как в доме опустелом, / Всё в нём и тихо и темно...» (XXXI-XXXII). Ленский первым в романе исполняет то блаженство раннего ухода, о котором Автор пишет в конце романа. Полярные возможности его судьбы становятся текстом романа, а не жизни. Его ранний уход побуждает Автора к размышлениям о «тайнах гроба роковых» (II, XVI), кото-

рые сначала упоминаются в романе как предмет бесед Ленского с Онегиным, но ведомы они поэту и его вопрошанию: «В пределах вечности глухой / Смутился ли, певец унылый, / Измены вестью роковой, / Или над Летою усыпленный / Поэт, бесчувствием блаженный, / Уж не смущается ничем, / И мир ему закрыт и нем?...» (VII, XI).

Значительно сложнее образ Онегина, близкого автору своим холодным умом. Онегин – уже известный европейской литературе тип скучающего, разочарованного героя. Не однажды на страницах романа он назван Чайльд-Гарольдом (I, XXXVIII; IV, XLIV; VII, XXIV; VIII, VIII): «Рано чувства в нём остыли; / Ему наскучил света шум». Это охладевший к жизни герой – «русская хандра / им овладела» (I, XXXVII-XXXVIII). Человек с остывшим сердцем, человек холодного ума, он и близок автору своей охлаждённостью, и полярен ему. «Томила жизнь обоих нас; / В обоих сердца жар угас» (I, XLV). Но увядание и охлаждение Автора связаны с душевной драмой, безумным чувством: «Любви безумную тревогу / Я безотрадно испытал... / Погасший пепел уж не вспыхнет». Его спасает вдохновенье: «Прошла любовь, явилась муза» (I, LVIII-LIX). Онегина же не спасут ни книги («Читал, читал, а всё без толку»), ни поэтическое вдохновение («Высокой страсти не имея / Для звуков жизни не щадить», I, XLIV; I, VII). Самое ключевое слово для состояния героя – душевная пустота («Томясь душевной пустотой», I, XLIV) как отражение пустой и праздной жизни света. «Труд упорный ему был тошен» (I, XLIII). В деревне ему тоже скучно. Но природа не знает пустоты, и пустота Онегина заполняется разрушительным, демоническим содержанием. Демоническая душа Онегина открывается Татьяне в её «зловещем» сне. Он убивает на дуэли друга, разрушает чистые мечты Татьяны о счастье. Беда современного человека в романе Пушкина – беспочвенность, неукоренённость. «Его истинный облик выражается мифологемой реки... перед нами характер текучий..., бесцельно направленный» [Чумаков, 2008, с. 208–209]. Таковы итоги эпохи романтизма. Онегин, в отличие от Татьяны, не знает своего призвания, но он знает, что домашний круг – не для него: «Когда б семейственной картиной / Пленился я хоть миг единый, – / То, верно б, кроме вас одной / Невесты не искал иной» (IV, XIII). Он не человек милой старины, основанной на привычке («Привычка свыше нам дана: / Замена счастию она», II, XXXI). Онегин: «Привыкнув, разлюблю тотчас» (IV, XIV). Слишком высоко говорить об Онегине, что он отвечает Татьяне не как литературный герой, а как «хорошо воспитанный светский и вполне порядочный человек» [Лотман, 1980, с. 237]. Он отвечает как опытный и пресыщенный соблазнитель: «В чём он истинный был гений... Была наука страсти нежной» (I, VIII).

С Онегина начинается типология современного беспочвенного героя литературы XIX в., «с его безнравственной душой, / Сябялюбивой и сухой, / Мечтанью преданной безмерно, / С его озлобленным умом, / Кипящим в действии пустом» (VII, XXII). В своей пустоте он обречён: «Убив на поединке друга, / Дожив без цели, без трудов / До двадцати шести годов, / Томясь в бездействии

досуга / Без службы, без жены, без дел, / Ничем заняться не умел» (VIII, XII). Он не идёт путём толпы, но лучшие годы им прожиты напрасно («Я знаю: век уж мой измерен», VIII, письмо Онегина). В. Непомнящий называет Онегина «потребителем» [Непомнящий, 1999, с. 148, 159]. Трансформацией Онегина как пустой души, как образа «проигранной жизни» [Лотман, 1980, с. 366] будут Печорин, Марк Волохов, Ставрогин, Клим Самгин. Онегин во многих современных исследованиях равноценен Татьяне. Цитирую Ю. Н. Чумакова: «Евгений и Татьяна представляются современному восприятию равновеликими и равнодостоинными личностями, претерпевающими свою драму» [Чумаков, 2008, с. 77]. Или: «В последней главе Татьяна, жертвенно принимающая свою судьбу, а вместе с нею – жёстко заданную социальную роль, невольно проигрывает главному герою...» [Архангельский, 1999, с. 26].

Новый ключ к этому образу находит в своей книге А. Минкин. Как Гёте, создав Вертера, освободился от комплекса Вертера, так Пушкин создаёт героя-двойника, свою Тень, от которой освобождался на пути к зрелости и мудрости [Минкин, 2019]. Это герой-циник (отношение к дяде в первых строках романа), соблазнитель, постигший «науку страсти нежной», каким он предстаёт в 1 главе, современный Дон Жуан: «Он в первой юности своей / Был жертвой бурных заблуждений / и необузданных страстей» (IV, IX) – в черновиках это строки о себе или в романе: «Увы, на разные забавы / Я много жизни погубил!» (I, XXX). В. Непомнящий отмечал, что поведение Онегина – для автора «суд над самим собой» [Непомнящий, 1999, с. 154]. Онегин не меняется. Его образ выстроен по модели круга. В 8 гл. он вновь кипит страстью к замужней даме, преследуя и компрометируя её. Но изменился автор, изменилась и его главная героиня.

К идеалу цельного героя ближе всего Татьяна, самый сложный человеческий тип в романе. Татьяна связана с природой, милой стариной и её символическим мироощущением. Но сначала мы её видим наивной, доверчивой «уездной барышней», выросшей на сентиментальных романах: «Ей рано нравились романы; / Они ей заменяли всё; / Она влюблялась в обманы / И Ричардсона и Руссо» (II, XXIX). «Пора пришла, она влюбилась», ибо «Душа ждала...когнибудь» (III, VII). «Воображаясь героиней / Своих возлюбленных творцов, / Кларисой, Юлией, Дельфиной / Татьяна в тишине лесов / Одна с опасной книгой бродит, / Она в ней ищет и находит / Свой тайный жар, свои мечты, / Плоды сердечной полноты» (III, X). Пушкин пародирует эти романы прошлого века, где «всегда наказан был порок» (III, XI). Пародирует и свою возможность написать «роман на старый лад», где героев ждёт много злоключений, но конец сказочный – «Поссорю вновь, и наконец / Я поведу их под венец» (III, XIII-XIV). Свою любимую героиню Автор проводит через ведомые ему два вида полноты: сначала через ущербную, дионисийскую полноту губительных страстей. Как отмечал Ю. М. Лотман, как героиня романа она первой пишет о своей любви и Онегина воображает таким же героем романа [Лотман, 1980, с. 23]: «Кто ты, мой ангел ли хранитель. / Или коварный искуситель?».

Письмо Татьяны – в сущности это гадание о своей судьбе (III). Поэтому она постоянно сомневается в своих суждениях: «Быть может, это всё пустое, / Обман неопытной души! / И суждено совсем иное...». Героине, как потом окажется, «суждено совсем иное». Письмо и мысли героини контрастны, как все представления о жизни в романе поэта. Героиня готова к смирению своих душевных порывов: «Души неопытной волненья / Смирив со временем (как знать?), / По сердцу я нашла бы друга, / Была бы верная супруга / И добродетельная мать». Героиня в этих словах осознаёт своё жизненное предназначенье, о котором потом скажет: «Свершить смиренный жизни путь» (VIII, XXVIII) – вот к чему она призвана и это призвание актуализирует снижаемые поэтом как принадлежащие ушедшему веку сентиментальные романы и делает их частью той милой старины, которую олицетворяет семейство Лариных. А далее она говорит экзальтированным языком романтической героини: «Другой!.. Нет, никому на свете / Не отдала бы сердца я! / То в вышнем суждено совете... / То воля неба; я твоя... / ты мне послан Богом... / Ты в сновиденьях мне являлся / Незримый, ты мне был уж мил... / Ты чуть вошёл, я вмиг узнала...». Но и этот восторженный монолог завершает сомнение («Быть может, это всё пустое...»). И как романтическая героиня готова погибнуть: «Погибну, – Таня говорит, – / Но гибель от него любезна...» (VI, III).

Поэтому неслучайно идеалом поэта всё более становится Татьяна. Образ её чаще всего связан с зимним пейзажем: «В окно увидела Татьяна / Поутру побелевший двор» (V, I). «Татьяна (русская душою, / Сама не зная почему) / С её холодною красою / Любила русскую зиму» (V, IV). Параллелизм не случаен: «Пушкин ощущал Россию в целом как преимущественно зимнюю страну» [Геллер, 2012, с. 253] (как потом А.Блок). Зима – это «мгла крещенских вечеров» (V, IV). Её любимое время суток: ночь – «Морозна ночь, всё небо ясно; / Светил небесных дивный хор / Течёт так тихо, так согласно» (V, IX). Или заря: «Она любила на балконе / Предупреждать зари восход, / Когда на бледном небосклоне / Звёзд исчезает хоровод» (II, XXVIII). У неё особая способность воспринимать красоту этого Богом сотворённого мира. С Татьяной входит в роман сверхчеловеческая мера человеческих поступков и стремлений: «Ты мне послан Богом». С Онегиным они полярны как пустота и полнота. «Татьяна верила преданьям / Простонародной старины, / И снам, и карточным гаданьям, / И предсказаниям луны». Она неотделима от символического миропонимания этой старины: «Её тревожили приметы; / Тайнственно ей все предметы / Провозглашали что-нибудь, / Предчувствия теснили грудь» (V, V). Эта тайнственность всего неотделима от страшного: её пленяли «страшные рассказы / Зимой в темноте ночей» (II, XXVII), «Тайну прелесть находила / И в самом ужасе она» (V, VII). Этим ужасом пронизан её «зловещий» (V, XXIV) сон, раскрывающий демоническую сущность Онегина: «За столом / Сидят чудовища кругом». И здесь же тот, «кто мил и страшен ей» (V, XVI–XVII), хозяин всей этой нечисти. Она провидит и своё паденье («гибель от него любезна»; «как будто бездна / Перед ней чернеет», VI, III), и гибель Ленского, погибшего вместо неё. Своему идеалу Автор отдаёт испытание безотрадной стра-

стью: «Любви безумную тревогу / Я безотрадно испытал» (I, LVIII). После свиданья с Онегиным «Любви безумные страданья / Не перестали волновать / Младой души... пуще страстью безотрадной / Татьяна бедная горит» (IV, XXIII).

Как писал М. Гершензон, ущербное бытие пребывает в вечном стремлении (Онегин – река), а совершенное бытие обретает покой [Гершензон, 1990, с. 213]: «Всё тихо, просто было в ней» (VIII, XIV) – такова Татьяна 8 гл. Душой она по-прежнему в родной глуши: «мои успехи в вихре света» – это «постылой жизни мишура». Здесь пышность, там «бедное жилище», здесь «ветошь маскарада» – там «дикий сад» («приют задумчивых дриад», II, I) и «смирненное кладбище» (VIII, XLVI). Образ Татьяны в 8 гл., как и образ Ленского, строится на несовпадении видимости и сущности. Для всех это «равнодушная княгиня» (VIII, XXVII), окруженная «крещенским холодом» (VIII, XXXIII). Но в душе это прежняя Таня – «простая дева, / С мечтами, сердцем прежних дней» (VIII, XLI), какой она предстаёт Онегину в их последней встрече. Она не предаёт своей любви («Я вас люблю»), но и для героини, и для Автора опорой жизни становятся нравственные обязательства, «судьба её уж решена» (VIII, XLVI). Вера и верность объединяет финалы «Онегина», «Метели», «Дубровского», «Капитанской дочки». Поэт обрывает свой роман. Онегин для него уже не актуален. Непредсказуемость жизни отражена и в судьбе Татьяны: не её, а выбор старших оказывается правильным. Пушкин приходит к «идеи незыблемости божественного космоса в его противостоянии демоническому посягательству» [Гаспаров, 1999, с. 323]. В мире Пушкина всё решает сверхчеловеческая мера – судьба или «тайная воля провиденья» (II, XXVIII), жизнь движима «волею небес» (III, XIII). Татьяна вознаграждена судьбой за своё смирение. Но постромантическое столкновение сакрального и inferнального в романе делает его топос трагическим. Потому заключительные слова романа: «О много, много рок отъял! / Блажен, кто праздник жизни рано / Оставил...» – равно могут быть обращены ко всем трём главным героям романа и самому автору, гадавшему о своей судьбе.

Лейтмотивом романа становится восходящее к мифу и фольклору сопоставление человеческого бытия с природой. Перед нами варианты психологического параллелизма: «Пришла пора, она влюбилась. / Так в землю падшее зерно / Весны огнём оживлено» (III, VII) Неравенство Татьяны и Онегина при их встрече подчёркнуто сравнением: «бедный мотылёк» – шалун, трепещущий зайчик – охотник (стрелок) (III, XL). Татьяна страдает: «Так одевает бури тень / Едва рождающийся день» (IV, XXIII). Природа в романе даётся в изменчивом восприятии полярных героев. Онегин видит «глупую луну / На этом глупом небосклоне» (III, V). А Татьяна пишет своё письмо, когда «всё дремало в тишине / При вдохновительной луне» (III, XX). Для Автора грустно явление весны, природа возрождается, но «возрожденья нет» для увядающей души (VII, III), потому «в возраст поздний и бесплодный... / Печален страсти мёртвой след» (VIII, XXIX). А для Онегина, как «деревцо свои листы / Меняет с каждою весною... / Полюбите вы снова» (IV, XVI).

И не менее важна – литературная традиция: полемика с ушедшим веком, отрицание литературных штампов и стереотипов, спор с традицией европейского романа, контекст литературы двух веков, обращения к писателям-современникам, диалог с создателями свободно-игровой композиции (Л. Стерн, Д. Байрон), взаимопереходы жизни и текста, игра возможностями текста и жизни. С реминисценции начинается роман, отсылая к Мельмоту-скитальцу, задавая тон в изображении заглавного героя, искусителя и соблазнителя. Все эти лейтмотивы и создают свободу целого, запечатлённого в онегинской строфе.

Таким образом, «Онегин» воплотил стремительный путь поэта от ошибок и заблуждений молодости («И я, в закон себе вменяя / Страстей единый произвол!», VIII, III), через постижение таинства жизни и смерти, через откровения поэтического дара – к зрелости, утверждению незыблемых нравственных устоев, Божественного миропорядка – ценой самопожертвования и самопреодоления и трагической картине мира («Блажен, кто праздник жизни рано / Оставил...»), в которой эти священные устои, ведомые поэту и цельному герою, начинают колебаться из-за явления современного беспочвенного героя-потребителя, имморалиста и пошлой толпы, живущей на поверхности жизни, ибо, как писал В. Непомнящий, человек «и венчает Творение, и уродует его» [Непомнящий, 1999, с. 465] – что вновь нас отсылает к библейскому масштабу постижения жизни как основы пушкинской картины мира.

Пушкин – поэт Традиции. Потому литературная традиция в романе столь же актуальна для автора, как и духовная Традиция. Как поэту Пушкину свойственно острейшее чувство слова. Христианская духовная Традиция присутствует в романе на уровне лейтмотивного словообраза. С усадебным миром в романе связан мотив смирения: «В глуши, под сению смиренной» цвела Ольга (II, XXI), «памятник смиренный» на могиле Ларина-отца (II, XXXVII), над «урною смиренной» на могиле Ленского плакали сёстры-Ларины (VII, VII). И не однажды словообраз смирения связан с образом Татьяны: «Души неопытной волненья / Смирив со временем» [III, письмо Татьяны]. В 8 гл. он доминирует в её характеристике, как и простота: «Ужель та самая Татьяна», которой он пренебрегал в её «смирной доле» (VIII, XX), её мечты «с ним когда-нибудь / Свершить смиренный жизни путь» (VIII, XXVIII), о «мольбе своей смиренной» говорит Онегин в своём письме (VIII). И наконец в последнем монологе Татьяны слово звучит как доминанта её жизнеповедения: «смиренно / Урок ваш выслушала я», «Вам была не новость / Смиренной девочки любовь», в её памяти «смирненное кладбище» (VIII, XLII-XLIII, XLVI). Смирение неотделимо от простоты Лариных («простая русская семья (III, I), их мирной жизни.

Как смирение доминирующий слово-образ для Лариных и Татьяны, так для поэта доминантой становится многосмысленный образ «Блажен», часто сопровождаемый иронией: «Блажен, кто с нею (любовной тревогой) сочел / Горячку рифм» (I, LVIII), «Блажен, кто ведал их волненья» (страстей), «Блаженней тот, кто их не знал» (II, XVII). «Блажен любовник скромный, / Читающий мечты свои / Предмету песен и любви» (IV, XXXIV). «Стократ блажен, кто пре-

дан вере, / Кто, хладный ум угомонив, / Покоится в сердечной неге», подобно Ленскому (IV, L). «Поэт, бесчувствием блаженный» «в пределах вечности глухой» (VII, XI). С горькой иронией в 8 гл. «Блажен, кто смолоду был молод...» (VIII, X). И, наконец, в конце романа: «Блажен, кто праздник жизни рано / Оставил...» (VIII, LI). В «минутном блаженстве» пребывает юный и пылкий Ленский, который «верит мира совершенству» (II, XV). «Блаженство тёмное» зовет Татьяна, влюблённая в Онегина (III, XV), а Онегин отвечает, что «не создан для блаженства» домашнего круга (IV, XIV). О «блаженстве» «поминутно видеть вас» – письмо Онегина (VIII). Библиеизмы «блажен» или «пустынники» (о Ленском и Онегине) (II, XVII) даются в ином, романтическом контексте во вневременном восприятии поэта, пафос которого – преодоление державинской всё уносящей «реки времён».

Забвение неотделимо для Пушкина от образа Леты: «Быть может, в Лете не потонет / Строфа, слагаемая мной» (II, XL), «И память юного поэта / Поглотит медленная Лета» (VI, XXII), «над Летой усыпленный» поэт «Уж не смущается ничем» (VII, XI). Один образ влечёт за собой другой, рифмуется с другим – в пушкинском союзе «волшебных звуков, чувств и дум» (I, LIX). Любимый Татьяной «дикий сад» – «приют задумчивых дриад» (II, I). И образ продолжен в задумчивости самой Татьяны: «Задумчивость, её подруга...» (II, XVI). Доминантным в романе является слово-образ судьбы, часто в её роковом проявлении («гроба тайны роковые» (II, XVI), «пищи роковой» жаждет влюблённая и пылкая Татьяна (III, VII), и перед ней является «искуситель роковой» (III, XV), Человек не может противиться «строгой» и «властной» судьбе (IV, XV; VII, XXIV). Она приносит страдания и Автору, и его любимой героине. Так пушкинский мир строится на пересечении христианских, античных, романтических мифологем. А индивидуальная человеческая судьба включена во множество концентрических кругов: домашний круг и светская суета, жизнь поколений и судьба поэта, вечно меняющийся круг природы, литературные и духовные традиции.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Аверинцев, С. С. Ритм как теодицея / С. С. Аверинцев // Новый мир. – 2001. – № 2. – С. 203–205.

Архангельский, А. Н. Герои Пушкина / А. Н. Архангельский. – Москва: Высшая школа, 1999. – 287 с.

Берковский, Н. Я. Романтизм в Германии / Н. Я. Берковский. – Ленинград: Художественная литература, 1973. – 567 с.

Блок, А. А. Записные книжки / А. А. Блок. – Москва: Художественная литература, 1965. – 663 с.

Бочаров, С. Г. О возможном сюжете: «Евгений Онегин» / С. Г. Бочаров // Бочаров С. Г. Сюжеты русской литературы. – Москва: Языки русской культуры, 1999. – 632 с.

Бройтман, С. Н. Поэтика русской классической и неклассической лирики / С. Н. Бройтман. – Москва: Изд-во РГГУ, 2008. – 485 с.

Гаспаров, Б. М. Поэтический язык Пушкина / Б. М. Бройтман. – Санкт-Петербург: Академический проект, 1999. – 400 с.

Геллер, Б. А. Девятая глава / Б. А. Геллер. – Санкт-Петербург: Алетейя, 2012. – 584 с.

Гершензон, М. Мудрость Пушкина / М. Гершензон // Пушкин в русской философской критике. – Москва: Книга, 1990. – С. 211–241.

Клех, И. «Евгений Онегин» и просто «Онегин» / И. Клех // Новый мир. – 2007. – № 4. – С. 139–143.

Лотман, Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин»: Комментарий / Ю. М. Лотман. – Ленинград: Просвещение, 1980. – 416 с.

Минкин, А. Немой Онегин / А. Минкин. – Москва, 2019. – URL: <https://flibusta.club/b/597703/read>

Непомнящий, В. С. (1) «Евгений Онегин» как проблемный роман / В. С. Непомнящий // Москва. – 1999. – № 6. – С. 143–173.

Непомнящий, В. С. (2) Пушкин. Русская картина мира / В. С. Непомнящий. – Москва: Наследие, 1999. – 542 с.

Пушкин, А. С. Собрание сочинений: в 10 т. Т. 4 / А. С. Пушкин. – Москва, 1960.

Франк, Л. Религиозность Пушкина; О задачах познания Пушкина / Л. Франк // Пушкин в русской философской критике. – Москва: Книга, 1990. – С. 380–451.

Ходасевич, В. Поэтическое хозяйство Пушкина / В. Ходасевич. – Петроград, 1923. – 218 с.

Чумаков, Ю. Н. Пушкин. Тютчев: Опыт имманентных рассмотрений / Ю. Н. Чумаков. – Москва: Языки слав. культуры, 2008. – 416 с.

REFERENCES

Averincev, S. S. Ritm kak teodiceya / S. S. Averincev // Novyj mir. – 2001. – № 2. – С. 203–205.

Arhangel'skij, A. N. Geroi Pushkina / A. N. Arhangel'skij. – Moskva: Vysshaya shkola, 1999. – 287 s.

Berkovskij, N. Ya. Romantizm v Germanii / N. Ya. Berkovskij. – Leningrad: Hudozhestvennaya literatura, 1973. – 567 s.

Blok, A. A. Zapisnye knizhki / A. A. Blok. – Moskva: Hudozhestvennaya literatura, 1965. – 663 s.

Bocharov, S. G. O vozmozhnom syuzhete: «Evgenij Onegin» / S. G. Bocharov // Bocharov S. G. Syuzhety russkoj literatury. – Moskva: Yazyki russkoj kul'tury, 1999. – 632 s.

Brojtman, S. N. Poetika russkoj klassicheskoj i neklassicheskoj liriki / S. N. Brojtman. – Moskva: Izd-vo RGGU, 2008. – 485 s.

Chumakov, Yu. N. Pushkin. Tyutchev: Opyt immanentnyh rassmotrenij / Yu. N. Chumakov. – Moskva: Yazyki slav. kul'tury, 2008. – 416 s.

Frank, L. Religioznost' Pushkina; O zadachah poznaniya Pushkina / L. Frank // Pushkin v russskoj filosofskoj kritike. – Moskva: Kniga, 1990. – S. 380–451.

Gasparov, B. M. Poeticheskij yazyk Pushkina / B. M. Brojtman. – Sankt-Peterburg: Akademicheskij proekt, 1999. – 400 s.

Geller, B. A. Devyataya glava / B. A. Geller. – Sankt-Peterburg: Aletejya, 2012. – 584 s.

Gershenson, M. Mudrost' Pushkina / M. Gershenson // Pushkin v russskoj filosofskoj kritike. – Moskva: Kniga, 1990. – S. 211–241.

Hodasevich, V. Poeticheskoe hozyajstvo Pushkina / V. Hodasevich. – Petrograd, 1923. – 218 s.

Klekh, I. «Evgenij Onegin» i prosto «Onegin» / I. Klekh // Novyj mir. – 2007. – № 4. – S.139–143.

Lotman, Yu. M. Roman A.S.Pushkina «Evgenij Onegin»: Kommentarij / Yu. M. Lotman. – Leningrad: Prosveshchenie, 1980. – 416 s.

Minkin, A. Nemoj Onegin / A. Minkin. – Moskva, 2019. – URL: <https://flibusta.club/b/597703/read>

Nepomnyashchij, V. S. (1) «Evgenij Onegin» kak problemnyj roman / V. S. Nepomnyashchij // Moskva. – 1999. – № 6. – S.143–173.

Nepomnyashchij, V. S. (2) Pushkin. Russkaya kartina mira / V. S. Nepomnyashchij. – Moskva: Nasledie, 1999. – 542 s.

Pushkin, A. S. Sobranie sochinenij: v 10 t. T. 4 / A. S. Pushkin. – Moskva, 1960.